

Кк. Обозначения. — 1993. — 15 окт. — с. 15, 18

Кристин, дочь Лавранса и подруга Марины

Мир читательских пристрастий Марины Цветаевой увлекательно таинствен, полон странных загадок, парадоксов, противоречий. В этом мире озаряется новым светом каждый попадающий в его орбиту предмет. Но была книга, сыгравшая совершенно уникальную, огромную роль в жизни поэта. Речь идет о трилогии норвежской писательницы Сигрид Унсет «КРИСТИН, ДОЧЬ ЛАВРАНСА». Автор закончила ее в 1922 году, а на русском языке она появилась в 1930-м и тогда же была прочтена Цветаевой. Об особом месте этой книги сохранилось множество свидетельств и признаний самой Марины Ивановны.

Что же так привлекало внимание поэта к судьбе женщины из далекого скандинавского средневековья? Филолог из Перми Лина КЕРТМАН предприняла попытку ответа на этот вопрос, решившись перечитать трилогию Сигрид Унсет как бы глазами Марины Цветаевой и в сопряжении с ее судьбой.

Мы предлагаем в сокращении фрагмент из рукописи «Непроизнесенное слово Марины Цветаевой» (она предложена Издательству имени Сабашниковых).

...Первая встреча Кристин и Эрленда. Многие в этой сцене могли приковать к себе внимание Марины... «Она (Кристин) сама не знала, что продолжала думать о нем весь этот вечер, но воспоминание об его узком смуглом лице и тихом голосе все время присутствовало где-то в полумраке над ее душою, озаренным свежим кругом...»*

Ася Цветаева ярко вспоминает обаяние юного «коктебельского» Сержи Эфрона с огромными, выразительными, сияющими радостью глазами на узком смуглом лице.

— Я с вызовом ношу его кольцо, Я в вечности жена — не на бумаге, Его чрезмерно узкое лицо подобно шпаге...

— писала тогда молодая счастливая Марина.

«...Казалось, будто весь свет селал ей только добра», — так чувствовала Кристин в ту первую полосу радостных открытий, первой любви с любимым человеком...

Людям, знающим трагедию Цветаевой (всегда «одна... противу всех», с ее «сиротством», неприкаянностью, «безмерностью в мире мер»), может показаться, что такие, наивно гармоничные взаимоотношения с миром ей всегда были бесконечно чужды... И все-таки — если бы это было только так — могло ли бы вырваться в одном из сокровенно-доверительных писем ее зрелых лет заклинание: «Дайте мне быть счастливой — вы увидите, как я это умею!»

...Это довелось увидеть в том летнем Коктебеле 1911 года, где произошла всю дальнейшую жизнь предопределившая встреча с Сереем, Максимуму Волошину, его гостям того лета и изумленной сестре Асе...

«Это — Марина?.. Марина сейчас моложе меня... Я никогда не видела Марину — такой».

Десятилетия спустя Марина Цветаева говорила, что — не только раньше, но и позднее! — она никогда больше не была так счастлива, нигде не была «своей», а тогда там — была. С какой благодарностью и тоской вспоминала она «своей» Коктебель в последний год своей жизни!

В то лето Марина, как и юная Кристин, жила с той редкой для нее верой, что «весь свет желал ей только добра», какая больше в ее жизни никогда не повторилась. Но тогда, в доме Макса и у его друзей в Коктебеле и в Фердинандии, эта вера была так оправданна...

Потом, годы спустя, Кристин довелось испытать и неопределенность, и отчужденность, и даже враждебность людей, среди которых приходилось жить: У меня давно уже не осталось друзей в долине, и в последние годы я мало знаю с соседями. Тот до сей поры я не думала, что, видимо, все они мне враги».

«Она говорила, что единст-

венное место ее — это был Коктебель, дом Макса, там она была своя, а потом везде и всюду, всегда — не своя! И в той страшной Москве двадцатых годов, и здесь теперь — не своя... Это страшно, когда человек всегда, везде — не свой...» (М.Белкина «Скрещение судеб»).

«Коктебельская» душевная свобода, полнота, «сияние» еще долго жили в их доме... Даже ворвавшееся в их семью мировые войны и уход Сергея — мед-братом — туда). Октябрь 1917 года, гражданская война и путь Сергея с Белой армией от Дона до Крыма, а затем — отъезд за границу) не погасили это сияние. Наоборот... В Марининых «Стихах к дочери» есть нелегкие лет звучит та же гордость ее отцом, романтическое восхищение, любование им, что и в первых посвященных ему стихах.

— Ты отца напоминаешь мне, Тоже ангела и воина.

Как близко это перекликается с самым ранним:

— Всем говорить, что у меня есть муж, Что он прекрасен.

В разлуке и в тревожной неизвестности друг о друге оба из последних сил жили надеждой на встречу.

Читая первый том романа о Кристин, Марина могла очень живо и остро вспомнить тот их период: Кристин с Эрлендом были разлучены на долгий срок, «и... ей стало казаться, что она не вынесет этой тревоги и неизвестности... и она уже серьезно стала бояться — могло случиться что-нибудь, и она уже никогда не увидит Эрленда. Она была отрезана от всего, с чем была связана прежде, а теперь и между ними связь становилась такой хрупкой и слабой... так многое может случиться».

Наступил наконец тяжелый переживаниями выстраданный день свадьбы Кристин и Эрленда. «И вот она сидела вместе с Эрлендом дома на почетном месте, и все кругом казалось ей видением в лихорадочном бреду... — Ты такая, странная, Кристин, — прошептал Эрленд во время танца. — Я боюсь за тебя, Кристин, или ты не рада?.. — Кристин казалась, что она не узнает своего родного дома, и она утратила всякое понятие о времени — ча-

Когда Кристин с мужем подъезжали после свадьбы к его родовой усадьбе, «Эрленд протянул руку: — Видишь, вот и Хюсбаю, Кристин! Дай тебе Боже провести там много радостных дней, жена моя! — произнес он взволнованным голосом».

Сергей, несмотря на то, что вез Марину не в родовое поместье, а в бедный чешский пригород Вшеноры, в не свой дом, тоже мечтал, что они, после таких бед и страданий чудом найдя друг друга, проведут здесь много радостных дней.

И в первый год во Вшенорах — несмотря и вопреки безденежью, бытовым трудностям деревенской жизни зимой, тревоге за будущее — действительно началась веселая и дружная, полная глубокой радости жизнь, в чем-то продолжающая то озабоченное коктебельским солнцем начало. С такой тоской вспоминала Марина ту атмосферу их первого совместного заграничного года (22—23 гг.) годы спуска: «...Вспоминаю Вшеноры, нашу чудную пещку, которую топила своим, добытым хворостом. И ранние ночи с лампой, и поздние приходы занесенного снегом, голодного С.Я., и Алю с ко-сами, такую преданную, и веселую, и добрую — где все это?? Куда — ушло?? (из письма к А.Тесковой 1938 г., дек.).

Думается, множество разных — в разное время и в разном душевном состоянии — ответов на этот больной вопрос давала себе Марина, вновь и вновь мучительно возвращаясь к нему.

Есть в письмах 30-х годов «серия» ответов на вопрос «куда все ушло?» — «С.Я. совсем ушел в Советскую Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет» (32 г.). «Мур растет разорванным между моим гуманизмом — и почти что «фанатизмом отца». Но ведь вовсе не о такой домашней атмосфере мечтал и сам Сережа, когда с такой надеждой ждал «величайшего чуда встречи», чтобы больше никогда не расставаться. И тот первый разговор, когда он откровенно рассказал о своем разочаровании в Белой армии, еще никак не предвещал подобной метаморфозы. Похоже, что он вовсе не стремился тогда непременно и как можно скорее заменить разочаровавшие его политические идеалы новыми, чтобы фанатично отдать служению им. Атмосфера семейной жизни во Вшенорах говорит скорее о другом: Сергей отошел от политики, отдался — со всей свойственной ему энергией и увлеченностью! — учебе

на филологическом факультете Пражского университета и журналистской работе.

Но, все трагичнее запутываясь, он все менее принадлежал себе. Так, в очередном разговоре о предполагаемом отъезде в СССР, обсуждая, где там жить — «С.Я. предлагает Тифлис. (Рай) — А Вы? — А я — где скажут: я давно перед страной в долгу. Значит, и жить не вместе, ибо я в Москву не хочу: жуть!» (36-й год, март). Осознавал ли сам Сергей эту «жуть»? В тот момент, возможно, еще не вполне...

Итак — Сергей сам ушел из их мира в мир, чуждый Марине и внушающий ей инстинктивное (точнее, продиктованное глубоким поэтическим прозрением!) недоверие?

«Подымаю глаза, совершенно горячие от слез, и сквозь слезную завесу вижу лицо Сигрид Унсет из серебряной рамки: укоризненное, недоумевающее, не знающее (меня...)».

Это — после напоенного горячего застолья (в письме к А.Тресковой): «Мне все эти дни хочется написать свое завещание... что-то, что мне нужно, чтобы люди обо мне знали... Я дожидалась до сорока лет, и у меня не было человека, который бы меня любил больше всего на свете. Это я бы хотела выснить. У меня не было верного человека».

Тут уж поистине обжигающий холод недоумения: а как же Сережа?! Умеющий так многое в ней принять, понять?..

Вот так же несправедлива — очень часто! — бывала Кристин к Эрленду в долгие, трудные годы их семейной жизни. К Эрленду, с которым в юности они так боролись за возможность соединить свои жизни. К Эрленду, которому она родила семерых сыновей. К Эрленду, которого она любила, не переставая, всю жизнь до его трагической смерти, за благополучие которого боролась, не жалея себя. К Эрленду, за жизнь которого ей так часто приходилось бояться и — в самые трагические периоды — истопленно бороться, зная на помощь всех, кто готов был рисковать (таких всегда было немало...).

К Эрленду, которого она никогда не бросала в бедах... В бедах Кристин забывала обо всех ссорах, всех тяжелых обидах, но в будничные (часто очень нелегкие) домашние дни...

«В ту пору, — с упреком, увещивающе говорит Кристин ее старый друг, — в ту пору, когда жизнь Эрленда была в опасности, ты думала лишь о его спасении... Но коль скоро вы можете владеть друг другом спокойно и без помехи, вы не в силах жить в мире и согласии».

Сколько признания в своей неспособности «жить дома — душой» встречаем мы в письмах Марины. Но, как и ее любимая героиня, она без колебаний бросалась ему на помощь во все трудные минуты его жизни.

«С.Я. держать здесь дольше не могу — да и не держу — без меня не едет, чего-то выжидает (моего «прозрения»), не понимая, что я — такой умру (курсив М.Ц.). Я бы на его месте: либо — либо. Летом еду. Едете? — И я бы, конечно, сказала — да, ибо — не расставаться же...» (март 36-го г.)

Как органично и естественно именно в этом письме опять возникает имя Сигрид Унсет! — «Все думаю, что на моем месте сделали бы (речь идет о мучительной дилемме отъезда в СССР. — Л.К.) Сельма Лагерлеф или Сигрид Унсет, которая (которые) для меня — образцы женского мужества. Помните, в сказке Иван Царевич на раздорожьи: влево поедешь — коня загубишь, вправо поедешь — сам пропадешь».

(Окончание на стр. 18).

(Окончание. Начало на стр. 15).

Конечно, наивно было бы утверждать, что память о поведении Кристин могла как-то конкретно влиять на поступки и решения. Здесь — другое: Марина не могла поступать иначе потому, что, «с этим родившись», она и чувствовала себя всю жизнь в этой книге как дома, и Кристин давно уже стала неотъемлемой частью ее самой. «Ибо женщины — так читают поэтов, а не иначе...» (Как ее мать «прочла» судьбу пушкинской Татьяны).

Но есть в трагической диалектике их отношений и «другая правда». «Чувство свалившейся тяжести не оставляет меня ни на секунду. Все вокруг меня отравлено... Свалившаяся на мою голову потеря тем страшнее, что последние годы мои, которые прошли на твоих глазах, я жил, может быть, более всего Мариной. Я так сильно, и прямолинейно, и неизбежно любил ее, что боялся ее смерти... Сейчас, стараясь над разведением наших путей, я испытываю чувство такой опустошенности, такой внутренней продранности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами... Изю всех сил стараюсь выкарабкаться. Но как и куда?» — так писал Сергей М.Волошину, когда страстная

Кристин, дочь Лавранса и подруга Марины

любовь к Радзевичу (герою поэм Горы и Конца) захватила Марину с такой силой, что поставила под угрозу весь их мир...

Многое потрясает в этом письме, над многим заставляет оно задуматься... Больно, что его не читала Марина. «Куда все ушло?» — тоскливо спрашивала она годы спустя. Думается, в очень большой степени письмо отвечает на этот вопрос. Потрясает уникальность в конце концов найденного Сереем — скорее всего подсознательно — выхода из мучительной дилеммы: он сумел, почти уйдя — не уйти, не вырвать «последней соломинки» из рук Марины, добился — в очень большой мере — «разъединения путей», с головой уйдя в политику, — но не довел это разъединение до разрыва. Он так построил последующую совместную жизнь, чтобы не зависеть — до такой степени беззащитно, как раньше, — от «ураганных страстей» Марины.

Если бы потребности в спасе-

нии не возникло — очень возможно, что при силе его любви к Марине он оставался бы — в немалой мере под ее влиянием, и в этом случае — скорее занимался бы менее политизированными вещами (журналистикой, пропагандой новой русской культуры...). И — не совершил бы трагической роковой ошибки, сам не заметив, как стал работать по заданиям ЧК. Как говорил Эрленд, «я не сделал бы этого, если бы мог отнестись легче к тому...». «Отнестись легче ко всему, что связано с Мариной», Сережа не мог никогда. Письмо говорит о том, какой страшной ценой пришлось и ему заплатить за коктебельские годы счастья...

Публикуется с сокращениями.

* Цитаты даются по изданию: Сигрид Унсет. Кристин, дочь Лавранса. — М.-Л., 1962.